

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА
**АЛЕКСАНДРА
МЕЛИХОВА**

АЛЕКСАНДР
МЕЛИХОВ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИЛИТ



Москва
2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М47

Оформление серии – *П. Петров*

Мелихов, Александр.
М47 Воскрешение Лилит / Александр Мелихов. –
Москва : Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

ISBN 978-5-699-86980-0

«Так хочется любви!» – постоянно повторяет героиня одного из рассказов А. Мелихова Лорелея московского разлива. «Так хочется любви!» – вторят ей другие персонажи. И не важно – Лукреции они или Медеи. Ведь и страшные преступления, и грехи попроще совершаются ими исключительно из-за любви – ради нее или по ее недостатку. «И так жалко всех, – пишет Дина Рубина о героях рассказов, – что сердце просто разрывается от жалости!» Новая книга А. Мелихова, в которую вошли новые произведения и написанные ранее, – это глубокое размышление писателя о женщине, ее архетипах, о божественной природе любви и человеческой природе пошлости.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-86980-0

© Мелихов А., 2016
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

НОВОРУССКИЕ ПОМЕЩИКИ

У каждого еврейского клана непременно имеется свой легендарный — ну, не Илья, конечно, Муромец, современная еврейская мифология не богата образами brutальных Самсонов, — но свой собственный Абрамушка-дурачок, который и в огне не горит, и в воде не тонет, а из каждого нового кипящего котла выныривает еще краше прежнего. Таким жароустойчивым и влагонепроницаемым Абрамушкой в нашем семействе считался дядя Изя.

Дядя Изя был, можно сказать, фамильный сын полка. Родился он в Киеве, а когда ему исполнилось два годика, его папа и мама получили по десять лет каждый — папа без права, а мама с правом переписки, но почему-то этим правом тоже ни разу не воспользовалась. Сделавшись таким образом ЧСВР в квадрате, членом семьи сразу двух врагов народа, неосмысленный Изя был взят на воспитание дядей Залманом из Житомира, а когда дядю Залмана тоже арестовали, дядю Изю по дороге в детский дом перехватила тетя Роза из Одессы. А когда и тетя Роза была изолирована, эстафету принял дядя Гриша из Горького. Когда же дядю Гришу забрали на войну, дядя Изя был переправлен с проводницей тете Доре в Киров. А когда тетя Дора умерла от тифа, дядю Изю взял к себе дядя Сема из Свердловска. А когда дядя Сема погиб при испытании скорострельной пушки, за дядей Изей при-

тащила тетья Голда из Биробиджана — так по телам родственников маленький дядя Изя добрался и до нашего леспромхоза, где мой папа, уже отбывший свой «детский» пятилетний срок, был задержан до конца военных действий, в ожидании которого он женился на чалдонке и взял на воспитание переходящего сиротку.

Это произошло еще до моего рождения, а когда я вступил в возраст, позволяющий не только различать, но и запоминать окружающих, дядя Изя уже отбыл в Москву поступать — так это тогда называлось. Народ в ту героическую пору был неизбалованный — сыр, если он с чего-нибудь вдруг попадал кому-то в руки, оказывался всегда одного и того же сорта: сыр, — ну, и высшие учебные заведения тоже всегда назывались одинаково: институт. Дядя Изя поступил в институт — всякому любопытствующему этого было более чем достаточно. А разумному тем более. Разумный понимал, что хотя товарищ Сталин и отдал концы, но дело его живет. И если даже врачей-вредителей отпустили с миром, это еще не значит, что Москва распахнет каждому леспромхозовскому еврейчику слишком уж гостеприимные объятия.

Его действительно пытались срезать, и все же дядя Изя поступил в московский институт — я это слышал столько раз с таким нравоучительным подтекстом, что вполне мог бы возненавидеть легендарного дядю как вечный пример и укор, но я все-таки почему-то предпочел им гордиться. Хотя папа, казалось бы, делал все для возбуждения моей неприязни. Дядя Изя никогда не дрался. Дядя Изя никогда не забирался через забор на лесопилку. Дядя Изя никогда не прогуливал уроки. Дядя Изя никогда не рвал штаны, не курил, не грубил и не ругался, он всегда мыл за собой посуду и убирал постель — застилал байковой дерюжкой кованую складную койку, которую я от него унаследовал. Сами стены нашего щитового домика, зимою промерзавшего до серебящейся морозной пыли, дышали дядей Изей, — удивительно даже, что папа сохранил лишь

одну, вернее, две его школьные реликвии — тетрадку, сшитую весьма суровыми нитками из нарезанной на порции занозистой газеты «Правда» за 1943 год (зато я понял, почему на моих тетрадках написано, то СШЫТОК, то ЗОШИТ), в которой дядя Изя учился писать между строк, и скобленную палочку, к которой не менее суровыми нитками было примотано зачуханное перышко. Нитки все еще лоснились от дяди-Изиных усердных пальчиков.

Я тоже пробовал писать этим перышком по газете, но оно так зверски цеплялось за прессованные занозы, чернила так слезливо расплывались (а у дяди Изи и чернила, изготовленные из шариков крушины, отливали какой-то епископской фиолетовой чернью), что я зауважал дядю Изю раз и навсегда. Моего бы терпения никогда не достало на то, чтобы выполнять подобные домашки на неизменные пятерки.

Дядя Изя более чем оправдал мифологический генотип, заложенный в его фамилию Шапиро. В далекие, хотя и относительно средние века в немецком городе Шпайер пламенные христиане заперли в синагоге и сожгли две тысячи евреев без разбора пола, но не возраста: добрые католики были настолько добры, что младенцев, еще не успевших закоснеть в богомерзости, прежде крещения огнем изъяли у родителей и раздали по еврейским семьям в другие города, где все приемыши и обрели одно на всех корпоративное имя Шапиро, восходящее к имени города их сожженных отцов и матерей.

Есть, впрочем, и другая версия: имя Шапиро происходит от слова сапфир, как древние евреи называли всякий по-особенному твердый камень, — и дядя Изя в своей судьбе соединил оба эти начала — как бездомность, так и твердокаменность. Специфическую еврейскую твердокаменность — никогда не нарываться и никогда не сдаваться.

Распределили дядю Изю прорабом в поселок Медвежий Кут, куда он отправился уже вдвоем с тетей Раей, а потом его перебрасывали по всей карте из Медве-

жьего Кута в Усть-Кут, затем в Октябрьск, Ноябрьск, Восьмимартовск, Нижневартовск, и после каждой переброски он оказывался на ступеньку выше, но неизменно чьим-то заместителем и никогда главным. Который, в полном соответствии с компенсаторным еврейским каноном, ничего не понимал в том деле, которым руководил, а потому без дяди Изю не мог ступить ни шагу. За что и преследовал его интригами, но всегда безуспешно.

Ищи меня, ищи меня, ищи меня по карте, то и дело начинал захлебываться оптимизмом неведомый баритон по радио, и я всякий раз при этом вспоминал дядю Изю. Отыскать его было практически невозможно — стоило тебе запомнить какой-нибудь Ленинанкан, как он уже оказывался где-нибудь в Ленинабаде, — неизменной оставалась только должность — зам.

* * *

Но наконец-то дядю Изю перевели в Москву, в главк. Наконец-то он дослужился до московского зама, не знаю только чьего. После всех медвежьих углов и кутов их с тетей Раей и сыномлевой поселили опять-таки в Медведкове. С тех пор примерно я и начал у них бывать, обычно чтобы пересидеть два-три часа перед ночным поездом и не обидеть радушных родственников, если до них дойдет, что я был в Москве и не заехал.

Добирался до них я всегда затемно. Автобус от метро, безнадежно завывая на поворотах, подолгу плутал среди совершенно одинаковых бетонных коробок, испещренных безжалостно горящими прямоугольниками окон (Москва слезам не верит, неизменно вспоминалось мне), покуда я вновь не убеждался, что у меня нет ни малейшей возможности распознать свою остановку. Спрашивать улицу Холодцова было заведомо бесполезно — тут каждому дай бог было самому разыскать свой кут. Оставалось мучительно вглядываться во тьму, тоскливо поглядывая на редющих пассажи-

ров, которые с горем пополам каким-то чудом все-таки догадывались, где им нужно сходить...

Однако в конце концов я тоже разработал собственный метод: нужно было не просто вглядываться во тьму, размеченную горящими окнами, но еще и следить за уровнем собственной тревоги. Кажется, проехал, кажется, проехал, все громче и неотступнее повторяла она, и в тот миг, когда страх переходил в отчаяние, — все, точно проехал! — вот в этот миг и следовало выходить. Тогда слева оказывался пустырь, а справа пространство, уходящее в непроглядные дали, и нужно было, нашаркивая ногой кочки и выбоины, ковылять в сторону пустыря. И когда, пересекая его наискось, ноги нащупывали сварную лесенку, переброшенную через не то водопровод, не то газопровод, так за многие годы и не захороненный под землю, — тогда ты уже знал, что сейчас перед тобою выстроятся пять блочных девятиэтажек, и пятая из них — дяди-Изина.

Не знаю, что в данном случае символизировала цифра пять — любимую Изину отметку или порочащий номер в анкете, — но дядя Изя прекрасно сжился и с тем, и с другим. Их двухкомнатная квартира дышала приятием жизни, умиротворением, вдохнуть которого я более всего и стремился, — того бальзама, которого мне более всего и не доставало. Подобно Антею, я должен был время от времени набираться сил, припадая к груди маленького человека, способного довольствоваться бесконечно малым, — чтобы зависть сменилась состраданием к нему, не способному даже заметить свою мизерность. А потому, лишь только я переступал порог дяди-Изинового дома, как начинал чувствовать себя счастливым, баловнем судьбы.

Из сверкающей высокомерной столицы я вдруг снова попадал в леспромхоз, в квартиру рядового леспромхозовского аристократа, — полированная дэ-эспэшная мебель, хрусталь — даже не знаю, кто кому навязал этот стандарт от Москвы до самых до окраин — Москва окраинам или окраины Москве. Дядя

Изя по всем просторам нашей карты возил с собою свой леспромхоз, равно как тетя Рая свою Шепетовку: нигде больше я не едал таких варений, тушений, печений с корицей, сладковатого куриного борща и кисло-сладкого жаркого с соусом из черного хлеба и вишневого варенья. Да и внешнее впечатление от тети Раи было — провинциальная еврейская учительница русского языка.

— Как дядя Мотя? — почтительно спрашивал дядя Изя, хотя и я давно общался с папой главным образом путем переписки.

И все-таки мне стоило серьезных усилий отбиться от тети-Раиных баночек-скляночек, которые она пыталась пропихнуть в мою сумку — для папы. Когда-нибудь же он придет в Ленинград! А если даже меня там не будет, папе все передаст моя жена...

Они ухитрились показаться мне милыми старичками уже в самый первый день нашего знакомства, хотя я сейчас существенно старше, чем они тогда, но даже и не помышляю числить себя старичком, — мое поколение слишком серьезно восприняло песенную заповедь: главное, ребята, сердцем не стареть... Не стареть, не набираться ума, то есть ответственности.

Дядя Изя же, кажется, набрался ума уже в те дни, когда тетка в царапучей железнодорожной шинели среди военного столпотворения сопровождала его в качестве не слишком ценного багажа из Горького в Киров. Когда я впервые увидел его в Медведкове, я прямо обомлел — гном, лесовичок!.. Носик бульбочкой, кругленькие щечки, редющие морковные кудерки, мягкие и легкие, словно у младенца, начавшего лысеть, еще не успевши как следует обрасти. Даже впоследствии, когда он поседел из цвета морковного сока в цвет серебристого апельсина и оплешивел редющими ключьями, образ старичка-лесовичка все же так до конца и не одолел ассоциаций с соской и ползунками. Куда уж там лесовичкам, если с младенчеством его облика не мог справиться даже двубортный костюм с широченными брюками, оснащенными уве-

систыми манжетами и карманами до земли, — костюмы эти были сняты с производства вместе с паровозами, но секрет их изготовления сохранился в каких-то секретных кремлевских ателье.

Госплан, совмин, цека, кремль — дядя Изя произносил эти сакральные слова с тою же будничной озабоченностью, что и слова «отчет», «калькуляция», «арматура», «опалубка», «швеллер», «кронштейн», «плита»... Без всякого страха или почтительности, равно как и непочтительности, — только озабоченность. Почтительность выражал лишь его косою левый глаз, всегда скромно потупившийся долу (левый уклон). Зато другой был небольшой, но младенчески любознательный, по цвету умело подобранный в тон к морковным кудеркам и постепенно вылинявший вместе с ними. Становясь все менее и менее различимым сквозь все нарастающую и нарастающую вогнутость его очковых линз.

Столичным лоском в медведковском гнездышке отливал лишь сын Лева, лет с двенадцати усвоивший повадки светского льва, питающегося грядущим благом в МИМО. Мне долго чудилось, что МИМО каким-то образом ведет происхождение от мимикрии, однако мне и сейчас продолжает казаться, что дипломатическое поприще требует прежде всего глубочайшего презрения к той стране, чьи интересы ты представляешь, — уж очень настойчиво Лева совершенствовался именно в этом искусстве, не скрывая, что считает жизнь и карьеру отца тусклою и провинциальною. В чем заключалась карьера тети Раи, я долго не интересовался: она состояла при дяде Изе, и этого было довольно. Лишь недавно я узнал, что в свое время тетя Рая умела при помощи одной лишь логарифмической линейки отыскивать центр тяжести самых сложных металлоконструкций и плит.

Меня, как и Леву, тоже не обольщало советское процветание «квартира, дача, машина», но по прямо противоположной причине: для Левы этого было слишком мало, для меня слишком много. Машины у дяди

Изи не было — видимо, он не мог ее водить со своими минус-линзами и вечно потупившимся глазом-уклонистом, — а дача была. Уже попадая из роскошного русского модерна Ярославского вокзала в электричку, ты сразу оказывался в захолустье: дачная публика старалась с самого начала обрядиться в последние обноски, и тетя Рая в этом никому не уступала, — ее трикотажный тренировочный костюм, изначально черный, после многочисленных линек отдавал фиолетовым, словно епископская мантия или чернила из крушины.

После полутора часов езды нужно было с поределой и продолжающей редеть, рассасываясь по каким-то партизанским схронам, кучкой босяков брести по корням и рытвинам истоптанного проселка еще минут сорок, пока из тьмы лесов, из топей блат не восставал косоугольный недострой дачного поселка. Дача дяди Изи, того архитектурного типа, который при Петре Великом именовался «для подлых», была выстроена явно без блата и тоже из каких-то обносков, — особенно впечатляла тяжкая входная дверь, явно списанная из какого-то доходного дома, предназначенного под снос: когда ее открывали, кто-то должен был с противоположной стороны выходить на балкончик, чтобы дача не завалилась.

На «участке» тетя Рая, вечно представляя наблюдателю особенно тощую и лиловую в обтягивающих трениках заднюю часть, неутомимо воздвигала грядки с кокетливо выглядывающей клубникой, прущей на волю картошкой, туповатыми безглазыми кабачками, тугими георгинами, растрепанными астрами, обрамляя прекрасное низеньким бортиком из вертикально вкопанных до половины в землю плоских консервных банок из-под частичка в томате, щедро выкрашенных кладбищенской серебрянкой.

Впрочем, более всего для души ей служил уголок Шепетовки — линялый-прелинялый коврик, плетеный из разноцветного тряпья, и такое же разноцветное покрывало на стальной пружинной кровати с никелированными шарами на спинках. Кровать

была их с дядей Изей первым семейным приобретением, потому и оберегалась в почетной ссылке.

На этой даче, услаждаясь плодами рук своих, подобно Цинциннату, дядя Изя и проводил свои отпуска, изредка выбираясь в ведомственный санаторий не то в Сочи, не то в Геленджик.

И это было счастье, ибо ни одно их желание не перелетало через частокол проторенного круговорота вещей перезрелого социалистического застоя. Вечный застой — не так ли древнее воображение и рисовало Золотой век?

Но — лидеры прогресса никому не позволят отсидеться за частоколом, — грянула перестройка.

* * *

Главк, или где там служил дядя Изя, был преобразован не то в ЗАО, не то в ООО, хотя мне эта аббревиатура понятна еще менее чем архетипический главк, — возможно, Открытое Окционерное Общество, возможно, Организация Объединенных Ослов, — но так или иначе, эти самые Открытые Окционеры или Объединенные Обороты избрали дядю Изю своим президентом.

И жизнь рванула вверх под откос.

Я бывал в Москве не так уж часто, а потому наблюдал катастрофический рост их благосостояния в стоп-кадрах, разделенных месяцами, а то и годами. И в самом первом стоп-кадре явилась пятикомнатная квартира в одной из тихих заводей ревущей Тверской, которую дядя Изя и тетя Рая упорно называли улицей Горького, не вкладывая в свое упорство ни малейшего идеологического подтекста. Их новый дом, невзирая на провинциальное затишье, был сплошь залеплен мемориальными досками наркомов и лауреатов, а под пятиметровыми потолками дяди-Изиной квартиры все еще носилось эхо трижды краснознаменного оперного баса, исторгавшего слезы из желтых глаз самого товарища Сталина. Из этого же стоп-кадра я узнал, что

и у Левы сбывлась его номенклатурная мечта и он уже год или два нежится в Париже, представляя Россию в ЮНЕСКО в части подготовки и принятия международных актов и обязательных к исполнению рекомендаций. Уж и не знаю, насколько его вооружила для нынешней деятельности школа номенклатурного всезнайства, — он еще мальчишкой с таким мстительным упоением описывал (чуть не сказалось: уписывал), какие иномарки коллекционирует Брежнев-старший и какие липовые торговые сделки по пьяни подписывает Брежнев-младший, что становилось ясно: если он и готов им в чем-то проиграть, то уж, по крайней мере, не в подлости. Во всяком случае за немногие парижские месяцы он успел развестись со своей русской женой, сумев до этого избежать такой доуки, как дети, и жениться на единственной наследнице богатого кубинца, осевшего во Флориде, и, должно быть, каждое утро теперь восклицал за завтраком: «Куба нет, янки да!» Лева был собою ничего себе, пошел в мать, а тетя Рая могла бы смотреться вполне интересной дамой, если бы это было ей хоть сколько-нибудь интересно.

Не помню уже, в каком стоп-кадре, но явно в одном из первых мне попался на глаза оскаленный хромом дяди-Изин автомобиль — черный, сверкающий и огромный, как катафалк, — с первого погляда мне больше запомнился коренастый шофер, чья прилизанность в сочетании с рваным эсэсовским зигзагом на широком плоском лбу и услужливость в сочетании с мрачно стиснутым бодлеровским ртом выглядела из последних сил сдерживаемой ненавистью. Когда эти два грибочка с его напряженной помощью усаживались в катафалк, у стороннего наблюдателя не оставалось никаких сомнений, что с кладбища им уже не вернуться.

Однако они всегда возвращались живыми и бродили среди новой офисной мебели, словно заплутавшие ходоки. Меня и самого теперь неотступно преследовало чувство, что я не расслабляюсь в гостях у родствен-

ников, а дожидаясь приема у какого-то неведомого современного воротилы. Если только не стоматолога.

С этих пор я уже общался преимущественно с тетей Раей — дядя Изя где-то в недрах непрерывно говорил по мобильнику, лишь ненадолго показываясь в приемной, я хочу сказать — в гостиной, однако, едва успев спросить, как поживает дядя Мотя, тут же принимался что-то подсчитывать на маленьких желтых листочках и, ошарашенный результатами подсчета, снова семенил звонить. Я успевал лишь заметить, что, невзирая на все геополитические катаклизмы, секретная кремлевская лаборатория, занимавшаяся пошивом номенклатурных костюмов, продолжает работать для избранного круга.

Не помню уже, в каком именно стоп-кадре — в пятом или в шестом — впервые возник загородный дом, возведенный среди кирпичных двухэтажных островов по собственным дяди-Изиным грезам в каком-то страшно престижном месте — чуть ли не Barvikha Hills или что-то в этом роде. Весь этот бург был огражден от народного гнева рустованной, словно исполинская вафля, высоченной бетонной стеной, увенчанной обнаженными проводами под током, — фарфоровые изоляторы и перемежающиеся прожектора довершали сходство с концлагерем.

До этого Освенцима нужно было пилить в просторном катафалке тоже часа полтора — сначала по душегубке шоссе, надолго замирая в пробках и с трудом различая сквозь тонированное стекло дрожащие огни печальных деревень, а потом уже переваливаться с боку на бок среди таких же переваливающихся черных изб, пока из тьмы лесов, из топей блат не вознесется прожекторное марево бурга. Вот где, значит, теперь обосновались мои новосветские, или, скорее, новорусские, помещики...

Добравшись туда впервые, я уже был чуть жив от морской болезни и плохо запомнил мрачную охрану в камуфляже и прожекторный плац — помню лишь, что в моем полубреду дяди-Изин дом предстал мне при-